Константин Леонтьев

Наше общество и наша изящная литература

Константин Николаевич Леонтьев
Наше общество и наша изящная литература

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2517495

Аннотация

«…Посредственный или безличный публицист может ещё быть полезен; если он даже просто излагает какие-нибудь факты общественной жизни, то и тогда он не только полезен – он необходим и достоин уважения, как деятель без «раздраженья пленной мысли». Человек с каким-нибудь направлением, хотя бы и не своим, тоже может быть полезен. Когда главные направления выразились уже ясно, повторять в деле публицистики человек может и чужое, не унижая своей личности; не всем быть вождями – нужны и рядовые…»

Содержание

I	4
II	12
III	19
IV	33

Константин Николаевич Леонтьев
Наше общество и наша изящная литература

I

Покойный Панаев писал нехорошо – все это знают; но, по нашему мнению, он произвёл одну свежую, искреннюю вещь. Эта вещь – небольшая повесть «Тля». Конечно, и в ней нет особых достоинств выполнения; но сюжет, избранный автором, так специален и правдив, что повесть навсегда сохранит свои достоинства. Сколько бы изменений не вносила жизнь в какой-нибудь тип, пока этот тип существует в главных чертах своих, творение, ловко уловившее его, сохраняет способность производить хорошее впечатление на читателя. Разумеется, мы переродились с тех пор, как «Тля» была напечатана в первый раз; но это перерождение совершилось не в ущерб плодородию тли. Вместо простой литературной тли, явилось у нас множество разных видов и вариаций: тля-обличитель, тля-публицист вообще, тля-повествователь, тля-консерватор, тля-ретроград, тля-радикал, тля-

умеренный либерал и т. д.

Посредственный или безличный публицист может ещё быть полезен; если он даже просто излагает какие-нибудь факты общественной жизни, то и тогда он не только полезен – он необходим и достоин уважения, как деятель без «раздраженья пленной мысли». Человек с каким-нибудь направлением, хотя бы и не своим, тоже может быть полезен. Когда главные направления выразились уже ясно, повторять в деле публицистики человек может и чужое, не унижая своей личности; не всем быть вождями – нужны и рядовые. Общественные движения не только на деле, но и в теориях опираются на потребности многих; для них требуется умственной индивидуальности менее, чем для искусства. В публицистике, особенно газетной, количество играет большую роль: повторяйте одно и то же, постоянно, долго повторяйте разными голосами, громкими и негромкими – это привлечёт внимание. И человек противоположного взгляда подумает иногда: «Есть же сильная потребность такого взгляда в обществе. Если люди постоянно, в разных местах, твердят одно и то же!». Такая мысль внушает уважение, заставляет противника делать умственные усилия, думать: «нет ли доли правды в ваших словах, и какая эта доля?». Вот и запала ваша искра, благодаря безличным и безыменным деятелям. Здесь имеются в виду люди не отборные по врождённому вкусу, уму, познаниям, а кто придётся. Есть, например, много людей (особенно в Петербурге), которые самое плохое новое, вчераш-

нее, предпочитают самому прекрасному и оригинальному, но старинному, хотя бы и близкому по духу с этим ново-плохим: сколько есть людей, которые самую бесцветную демократическую статью, напечатанную вчера, в плохой газете, прочтут скорее, чем родоначальника всей новейшей демократии – Руссо? Сколько людей предпочтут материализму Вольтера – истасканный материализм сегодняшнего фельетона, потому что он сегодняшний! – А ведь они люди, часто люди хорошие, или будут хорошими; может быть, они молоды, смелы, или солидны и надёжны! Как же не заставить мелькать перед ними беспрестанно наши взгляды, то там, то сям? Как же не брать количеством с теми, кому качество недоступно?

К тому же всякая газетная или журнальная статья такого рода пишется или по поводу действительного факта, или с целью передать, изъяснить этот факт. Эта прочность реальной подстилки часто и взыскательных людей мирит с формой изложения, с плоским юмором, который так въелся в нас теперь и т. п…

Изо всего этого, кажется, можно позволить себе заключить, что тля-публицист – самая полезная, самая дельная тля; хотя она гораздо скромнее беллетристической тли и почти никогда не подписывает своего имени под безличными статьями. Совсем другое видим мы в изящной словесности. Здесь требование качества имеет решительный перевес над требованием количества. Девиз пропаганды: часто, дол-

го, однообразно; девиз искусства: редко, но метко! К несчастью, в современных повестях забыты и качество формы, и качество содержания. О форме, впрочем, мы будем говорить мало, как ни важна она сама по себе и для прочности произведения, и для минутного впечатления на читателя. Если бы в современной беллетристике было достойное, блестящее содержание, мы сказали бы, что накопившееся богатство социальных, философских, психологических идей прорвало форму; но этого нельзя сказать. Ложное содержание, бедное мыслями; ни страсти, ни глубины, ни даже тонкости и блеска – и всё в дурной форме, со слабыми гримасами самого дешёвого юмора!

И как нехорошо отзывается это ремесло на личности самого деятеля! Тля-беллетрист бесполезен для других и вреден самому себе.

Для других всякое честное ремесло довольно безвредно; но для личности самого ремесленника разница большая – то или другое ремесло. Одно укрепляет, возвышает человека; другое его портит. Земледелец, если он не разорен, укрепляется от своей работы, сохраняет свежесть и моложавость до поздних лет; фабричный бледнеет, чахнет; всякому известно действие ртутного, свинцового производства, влияние стальной пыли на рабочих, занимающихся точением вилок в Англии и т. п. То же самое и в нравственном мире. Всякий род занятий располагает к каким-нибудь недостаткам (хотя, разумеется, развивает и некоторые хорошие

свойства). Врачи часто становятся слишком алчны и бесчувственны к телесным страданиям других; военные – беспорядочны и нравственно-распущенны; чиновники становятся формалистами, часто тупы и робки; учёные – узки, эгоистичны и не понимают жизни. Это говорилось сто раз. Записной литератор (особенно беллетрист) рискует всегда взять у всех вышеупомянутых деятелей самые дурные стороны: алчность врача и под личиной гуманного лицемерия и избитых современных тирад, равнодушие к страданиям других; беспорядочность и распущенность военного, робость и болезненный вид статского чиновника, эгоизм учёного и даже его непонимание жизни, если он не очень умён и живёт всегда в литературном кругу. Ещё, если бы, жертвуя таким образом собой, развитием своей личности (самая величайшая, ужасная жертва!), он мог сказать себе: «я приношу явную, несомненную пользу!» или: «я блистаю!» – было бы из-за чего жертвовать. Достоинство личности меряется или пользой её, или красотой (блеском, силой); хорошими свойствами для других или, по крайней мере, хорошими свойствами для себя. Как подспорье самоуправлению, за неимением его, чиновник необходим; это для других; для себя – чиновничья жизнь, если она хоть немного обеспечена, представляет характер правильности, определённости, умеренности, располагает к порядку и воздержности (мы говорим о чиновниках вообще, а не о русском непременно). Без военных тоже обойтись нельзя, пока не все нации в мире обезоружились;

это для других; а для себя? – сколько шансов свежести, бодрости, телесной силы, весёлости, геройства! В учёном могут легко укорениться те стороны, на которые мы указали для чиновника, только в ещё более сильной степени и с высшим умственным оттенком. О пользе самой отвлечённой или самой сухой науки никто не спорит; сегодня ещё нет применения – завтра будет. Личность врача, несмотря на все недостатки и плоские стороны, свойственные этому званию, стоит уже выше всякого сомнения, в отношении пользы себе и другим. Даже ум, не подкупленный никакими нервными теориями, ум русского крестьянина, начинает соглашаться с этим; и если врач мало-мальски добр и заботлив, они идут к нему толпой. Там, где выходит иначе – виноват доктор, а не крестьяне.

Личность литератора имеет склонность страдать, как мы сказали, в совокупности всеми теми недостатками, которыми расположены страдать люди вышеупомянутых званий. Со всех сторон Сцилла и Харибда! Заработок неверен; тысяча мелких страданий обезображивают характер, слишком лихорадочно настраивают ум; а чтобы сделать заработок более верным, надо писать всегда к сроку и, часто, по заказу; оригинальность и искренность слабеют по мере улучшения материального быта. Семейная жизнь поэту и романисту (особенно бедному) уж вовсе не к лицу; есть что-то отталкивающее между причудами идеальной жизни и такой вещью, как семья.

Семья, чтобы быть чистой, тёплой, отрадной для себя и для других, должна отличаться характером прочности, покоя – пусть даже с некоторым деспотизмом главных лиц, если этот деспотизм умён или честен и служит к поддержке того, без чего семейная жизнь падает ниже беспутства. Итак, семья, по роду занятий, по преобладающим нравственным свойствам поэта и беллетриста – им не к лицу; а цыганство одинокой и бедной жизни слишком часто доводит до недовольства всем и всеми, до тысячи натяжек и судорожных фантазий, для которых нет середины: или они имеют плодом что-нибудь прекрасное (как у Байрона), или приводят к самым жалким умственным результатам.

Долгое литераторство, особенно с первой молодости, делает человека мало способным ко всякому другому труду, не даёт средства кровно срастись, хоть на время, с какой-нибудь жизнью, и в одну эпоху доводить до пустой сладости, в другую (например, в нашу) до пустой кислоты.

Чем же вознаграждена эта вредная для себя деятельность? Можем ли мы сказать, что произведения, высасывающие таким образом сок из своих производителей, хороши сами? Разумеется, нет; и не в одной России, а во всех больших государствах, с большими столицами, оживлёнными механической стороной цивилизации.

Опять повторяем, оставим форму в стороне; не потому, что мы её считаем менее важной, чем содержание, но потому, что чутьё формы слишком ослабло теперь, и многие сра-

зу почувствуют недоверие и даже отвращение к нашим словам, как скоро увидят такую заботливость об изящной форме. Возьмём прямо содержание того, что большею частию печатается у нас в повествовательном роде, и попробуем посмотреть, как это содержание относится к нашей жизни: выше ли жизни нашей содержание нашей изящной словесности, близко ли к ней и равно ли ей, или ниже её? Нам кажется, что ниже, несравненно ниже! На это есть причины, и уважительные, и неуважительные. Первые стоят вне власти литературы; в других виновата сама литература, или, лучше сказать, литераторы, недостаточно уважающие своё дело, нечестно служащие ему. Честность в искусстве совсем не то, что честность в жизни.

Но о причинах поговорим после, а в следующей статье постараемся показать, почему нам кажется, что действительная жизнь гораздо выше той жизни, что изображается в повестях.

II

Есть два способа судить людей, эпохи, произведения людские: один основан на результате, до которого дошёл, в данном случае, человек, эпоха, до которого доросло произведение, другой берёт в расчёт борьбу, препятствия, средний уровень случаев и смотрит, насколько человек, эпоха, произведение переросли свои препятствия, свой уровень и т. д.

Мы с вами на берегу; двое плывут; один по открытому месту, нагой, и по течению; другой в одежде и против течения, и по пути ему тростник, цепкая трава, брёвна, которые надо миновать. Первый проплыл полверсты, второй четверть версты; результат первого выше, но вы чувствуете, что второй мог бы быть ещё выше, если бы не … и признаёте, что второй пловец более искусен. Вырастает в Дрездене или в Берлине сын профессора или скромного учёного пастора; окружённый с детства атмосферой порядка, честности, науки, домашнего мира – он сам лет в 25 становится почтенным, честным, безукоризненно обстоятельным учёным. Он делает новый шаг в науке. В одно время с ним родится Ломоносов, ведёт известную всем жизнь, не открывает ничего для всемирной науки, но на своей родине, удалённой от учёного мира и бытом своим не располагающей к весёлой и счастливой учёности, на этой родине – он кладёт основание нескольким отраслям наук и всю жизнь проводит в борьбе.

Кто выше? Ещё один пример: нынешний молодой помещик, трепещущий за свою репутацию прогрессиста, не бьёт ни разу, да и не смеет, по закону, бить своих слуг; с другой стороны, старый помещик, владетель крепостных, не знакомый со словами «гуманность», «прогресс» и т. п., человек прямой, но вспыльчивый – всего три раза в жизни прибил своего слугу, испорченного вековым рабством и неисправимого мошенника. Который добрее?

На этих основаниях сам рассудок говорит нам, что меньшая доля гражданских доблестей у нас ценнее, чем большая в какой-нибудь стране, пропитанной духом гражданственности издавна; что у нас умственная сторона задачи труднее, чем во многих других местах, так как мы страдаем всею сложностью разнообразных государственно-общественных интересов, которыми страдали другие, и не имеем привычки к ним, не знаем свободного обращения с подобными трудностями. «Задача нетрудная – прогнать турок!» сказал Шубин у Тургенева, стараясь, по очень извинительному чувству, унизить достоинство Инсарова. Подразумевается: «Нужна отвага, упорство – это бы у нас нашлось; но куда употребить их? Какой путь избрать в этой пёстрой, разбежавшейся во все стороны жизни?»

Однако, несмотря на все эти затруднения, на всю неясность дела, сколько людей трудятся в разных родах и на разных поприщах, сколько борьбы небесплодной, сколько отречений, честных, невынужденных уступок, сколько просве-

щённой простоты во взглядах, сколько человечности! Если мы оставим в стороне застывшую гримасу беллетристики, а обратимся прямо к разным, более официальным и точным источникам, к чему-нибудь вроде писем, о действительно случившемся, к обозрениям, не слишком натянутым на крайность, и потому более правдоподобным, к разным сведениям из провинций и т. п. – во всём этом и, просто, в разговорах мы услышим дыхание полной жизни; с чисто гражданской точки мы увидим, что одни мировые учреждения доставили множество благородных деятелей (пишущий эти строки мог бы сам указать на несколько отличнейших натур, которые стали мировыми посредниками и работают в неизвестности); а люди более известные? Н.И. Пирогов, который во стольких национальных делах был из первых, или даже первым; граф А.Н. Толстой? И т. д. А сколько не очень даровитых, но честных людей выросло в последнее время, благодаря этому поприщу? Самые лучшие из этих людей могут ошибаться, или уставать, точно так же, как смелые люди совершенно других взглядов и другого рода могут заблуждаться в своей смелости, но и те, и другие – мы думаем – не пошлы. И Верньйо, и Ройе-Коллар – молодцы, точно так же, как Жозеф де-Местр, который и Бэкона не побоялся, в своём роде, или Дантон в своём – молодцы… Мы ведь говорим про то, что в жизни нашего общества несравненно больше и трагического, и изящного, и доброго, чем в наших сочинениях. Мы вовсе не хотим сказать, что «всё обстоит благо-

получно»; это для истинного художника и не нужно… Он очень рад, в глубине души, трагическому началу жизни. Например, злодеи г. Достоевского из «Мёртвого Дома» – лица вовсе не той категории, на которую мы жалуемся; когда лицо сильно, оригинально и полно движения – оно уже не вполне отрицательно, как бы вредно оно не было. Хлестаков более отрицателен, чем Нерон, и бледный прихвостень демократических стремлений отрицательнее самого страшного изувера и деспота, точно так же, как презренный светский мотылёк отрицательнее ловкого итальянского разбойника. Художнику меньше, чем кому-нибудь, позволительно определять людей односторонними признаками нравственно-политических, религиозных или антирелигиозных направлений. Жизнь полна, а всякое направление бедно, потому что живёт исключениями. Мицкевич сказал: «История всеобщей литературы убеждает, что «упадок вкуса и недостаток талантов всюду происходят от одной причины*: от ограничения себя известным числом правил мышления и мнений»* …

Мы указали, мимоходом, на несколько известных лиц, всеми больше или меньше уважаемых (даже и теми, кто их осуждает или ненавидит); но, само собою разумеется, никто не рекомендует *описывать* именно их, или других слишком видных общественных людей; это невозможно, да и не следует по многим причинам. Во-первых: слишком осязательное, слишком явно отмеченное публичностью явление неудобно для искусства. (Софокл и Эсхил, хотя жили во времена пер-

сидских войн, но писали не об них, а обращались охотнее к прошедшему): отбросить что-нибудь жалко, образ портится; не отбросить – неприлично, совестно, не принято… Во-вторых, изображать одну гражданскую честность в романе невозможно: будет сухо, безжизненно; «стоическое вообще недраматично»; а трогать что-либо из частного быта лица слишком заметного, если бы этот частный быт и был хорошо известен нам, мы решительно не имеем права! Говорится только о том, что уж если выбрать мирового посредника в действующие лица повести (выбор очень бестактный, в художественном отношении), то можно найти вовсе не таких, какого выбрал г. Юрьев в «Очерках с натуры» («Отеч. Записки», 1862 г.).

Непременно понадобился самый дурной, закоснелый бюрократ, вдруг ставший либералом…разумеется, из-за хорошего жалования! Помещики в этой повести тоже осмеяны, мужики – все мошенники, деревня – непременно тоже глушь и гадость … Есть разные посредники, разные крестьяне; помещики ещё разнообразнее; деревни тоже: есть скучные, есть и отличные, живописные, в очень оживлённых местностях, с соседством иногда таким просвещённым, какое, может быть, и в Европе не скоро найдёшь! Что мы находим в сочинениях подобного рода? Плохое изображение плохих сторон жизни! Да ещё и это слишком много! Неверное изображение плохих сторон жизни. Кто может ручаться, что это верно? Будь это изложено в каком-нибудь газетном пись-

ме, как действительный факт, могли бы опровергнуть его или подтвердить. Факт действительной жизни, особенно при наших расстояниях, при нашей неспособности сообщаться друг с другом, собираться кучами, очень дорог и как современное сведение, и как материал для будущей подробной физиологии общества. А это ведь тоже творчество!

Оставим чисто гражданские дела; посмотрим на другие стороны действительности.

На Кавказе до сих пор продолжаются военные действия; весь юго-восток наш населён разноплеменными народами, которые живут своей жизнью и *отделяют*, так сказать, ещё много свежей поэзии[1] в мире артистов какое разнообразие физиономий! Самый литературный мир; какими личностями он не наполнен! (Разве тоже всё отрицательными, такими, как вы сами, г.г. новейшие беллетристы?) А семейная жизнь со всеми благородными сторонами своими? А свет и роскошь? А театр, природа, невинные верования и привлекательные предрассудки, с одной стороны, беспощадная наука и бешеное отрицание, с другой? Одни ежедневные превращения личностей в высшей степени любопытны и вовсе неотрицательны… Во всём этом так и слышатся со всех сторон жизнь, боль, радости, надежды, отчаяние … и всё достаточно *уже* проникнуто человечностью, чтобы иметь право на художественную положительность. Добролюбов назы-

[1] Целый Дон живёт старинными великорусскими привычками с военно-демократическим оттенком (*прим. автора*)

вал Пушкина недостаточно гуманным поэтом; он не мог ему сделать лучшего комплимента; для поэта он достаточно гуманен; среда очень грубая и жестокая не вдохновит поэта – но гуманность не может и не должна поглощать в нём все другие чувства, даже и те, которые не так-то легко примирить с нею. Для *положительных* картин достаточно и такого количества гуманности, которое теперь есть налицо; если же мы будем ждать чего-то очень высокого, в будущем, для того чтобы решиться заговорить иначе, мы разыграем в лицах басню: «Собака и её тень». И все прекрасные, замечательные явления нашего времени, все *возможности* его пропадут без следа, а что будет после – неизвестно! Повторяем, тот, кто хочет ощущать что-нибудь непрезрительное и видеть что-нибудь *почтенное*, или *блестящее и сильное*, должен обращаться или к самой жизни, или к разным сведениям и известиям журналов и газет, а не к повестям и романам новейшей школы. Нынче у нас праздничный, идиллический и трагический элемент выпал (сравнительно) на долю действительности, а *будничный, комический – на долю изящной словесности.*

III

Мне скажут, что я обязан представить ещё факты. Но это довольно трудно сделать. Литературные факты всем доступны; если же, в противоположность к ним, я буду представлять жизненные факты, то могут в одних усомниться, другие признать не заслуживающими *положительного* взгляда. Относительно последнего пункта, я скажу, что положительного взгляда удостаиваться могут люди, не только вовсе безукоризненные, но и очень порочные, если только они сильны или блестящи. От этого очень похвального, но невыгодного для искусства стремления к нравственному (в этом слове разумеется и гражданская нравственность), произошло, например, то, что Базарова иные молодые люди считают карикатурой, потому что не находят в нём тех тёплых сторон, того истинного энтузиазма к добру, которые они справедливо ощущают в себе; между тем, в провинции люди умные и очень развитые, но лишённые столичного умения читать между строчками, находят его лицом хотя и жёстким, но в высшей степени трагическим, сильным и блестящим, и не могут понять, где эта ненависть к молодёжи, в которой обвиняют автора! Мы полагаем, что провинциалы правее в этом случае. Какое дело до внутреннего побуждения автора, когда мы его верно знать не можем и когда само явление (т. е. Базаров) пускает множество толкований… Г. Тургенев поло-

жительно отнёсся к Базарову, и вот почему: он чисто отрицательно отнёсся только к Кукшиной и Ситникову: все другие лица более или менее положительны (и, встретясь в жизни с Николаем Петровичем, Павлом Петровичем, Одинцовой, Феничкой, стариками Базаровыми, мы не считали бы их ничтожными); и, однако, все эти лица, очерченные если не с теплотой, то с уважением, бледнеют, как бледнели бы они в действительности, перед умом, энергией, самобытностью, сухой страстностью Базарова. Не только в искусстве, но и в самой жизни, вопрос о достоинстве лица не могут решать исключительно ни современность и отсталость, ни последовательность и её контраст, ни гуманность и жестокость, ни ум, ни образование, ни народность… Лица рисуются прекрасно или плохо, смотря по сумме своих свойств, или, лучше сказать, смотря по тому среднему выводу, который делает душа наша при взгляде на личность, не спросясь ни у логики наших политических взглядов, ни у нравственности. Тот же самый Базаров, например, гораздо непоследовательнее (одно из самых обыкновенных обвинений нашего времени) Молотова. Базаров принял вызов Кирсанова; несвоевременно, неконсеквентно, нелогично, нерационально; но, право, в такой непоследовательности он гораздо изящнее и достойнее Молотова, который говорит: «не буду драться: в часть потащу, если очень пристанет!» Вот истинно современный взгляд! Вместо отважного фатализма – пуля, логика суда! Полезно, но некрасиво!

Оговорившись, таким образом, что ни гражданственность, ни гуманность, ни просвещение, ни народность необходимы, каждая особо, для того, чтобы лицо было прекрасным или достойным, а что необходимо только гармоничное сочетание разных качеств, дурных и хороших, я попрошу читателей вспомнить только об анекдотической части разных изустных бесед, которые приходилось им когда-нибудь слушать. Сколько любопытного случается на свете, и даже у нас, в России; интересное, сложное, неожиданное важнее для искусства, чем почтенное, и Алкивиад – более герой романа (вовсе не отрицательно), чем Аристид. Да и достойное встречается в жизни нашей чаще, чем в повестях. Позволю себе несколько кратких анекдотических рассказов, слышанных мною, несколько лет тому назад, от людей, чуждых всяким общественным идеям.

1) Помещица приезжает в один город, видит девушку у ворот, против своей квартиры, в слезах; видит раз, другой. Узнав, что она *задолжала хозяйке* и должна продолжать, против воли *унизительное ремесло*, набожная старушка откупает её, увозит в свою деревню; младший брат помещицы встречает эту девушку, нравится ей; у них дитя… Старушка продолжает держать её у себя и любить её; но дитя умирает, любовник уезжает – и девушка начинает вдруг тосковать о прежней разгульной жизни, просится в город, благодарит старуху и уходит. Старуха, по-моему, достойное лицо, девушка – интересное, занимательное.

2) Один учёный, ещё задолго до эмансипации, освободил своих крестьян, с землёй, и жил почти одним жалованьем; к этой чрезвычайно достойной черте можно было бы прибавить множество занимательных, оригинальных свойств и выходок этого добрейшего, трудолюбивого, наивного и твёрдого человека; но на это я не имею права – может выйти слишком ясно.

3) Литература трактует часто, до сих пор, о какой-то сословной гордости, а мы можем указать на множество помещиков, женившихся на крепостных или мещанках, на многих старых родителей (в том числе на одного сенатора), которые прекрасно приняли своих *неблагородных* невесток.

4) Литература жалуется нередко на стеснение женщин; на безжалостность к падшим в нашем обществе и народе. Где это? Не пожаловаться ли на противное? Народ – многим известно – легко прощает это. Девушкам в некоторых местностях даже позволено весело проводить время до брака; а если жену прибьёт муж-простолюдин, не из хозяйственных капризов, а из ревности, то насчёт этого вопроса можно обратиться ко многим образованным женщинам… При мне один молодой профессор спорил против двух других об этом предмете. Он говорил, что человек, способный прибить женщину даже и из ревности – зверь, и хорошего в нём ничего быть не может; двое других опровергали его, но ставили необходимым условием любовь, чтобы оправдать эту грубость. При этом были три молодые девушки и несколько мо-

лодых женщин; спросили их мнение, и они встали все на сторону двух защитников побоев из ревности. Сказали прямо, что «пусть прибьёт такой, который умеет любить и которого я люблю».

Что касается до девиц привилегированного сословия, то я на свою долю знаю нескольких таких, которые имели детей до брака и были приняты у знакомых, были приняты родными матерями и любимы ими; и большая часть из них вышли замуж совсем не за тех мужчин, которые их обольстили, а за новых, которым они понравились.

Наконец, сверх всего этого, наша жизнь, просто, разнообразнее, богаче, пышнее нашей литературы. Это заметно во всех тех произведениях, которые подходят ближе к мемуарам, чем к творчеству («Сельская хроника», «Мёртвый дом», многие заметки и записки о последнем военном времени и т. п.). Отказываясь от творчества главных подробностей, человек предоставляет жизни говорить самой за себя, и не отвечает уже за выбор фактов, менее боится прослыть обскурантом, или смешным романтиком; это ещё заметнее на писателях, менее известных, потому что они менее смелы.

Впрочем, говорить о добродушных суевериях простого народа, о его энергии, о поэтических поверьях – ещё допущено; на каждый отрицательный очерк г. Успенского, можно найти что-нибудь положительное; на каждую черту глупости, невежества, пьянства, жестокости и лени, можно в очерках других писателей (даже у самих отрицателей, например,

у Щедрина) найти черты глубины ума и сердца у простого русского, черты трезвости, скромности, трудолюбия, горячей веры, доброты и т. п.

Для подтверждения наших слов, можно также указать на одну газету, в которой очень заметно расположение порицать – на «Современное слово». В этой газете вы найдёте, в отделе известий, много фактов, которые говорят в пользу добрых или энергических свойств нашего народа. То волостной старшина в саратовской губернии заводит училище для девушек; то в харьковской губернии крестьяне открывают школу для будущих народных учителей; то владимирцы хотят учиться; то хвалится сметливость русских крестьян, которые выдумали разные машины называть самосушками, самочеряками и т. п.; то с сочувствием описываются народные славянские увеселения (вечерницы и т. п.)… Нам скажут: «это – всё редкости, на которые люди указывают с радостью; газета порицает то, что ей кажется дурным, и хвалит, изредка, то, чему бы она желала видеть больше подражателей, или описывает то, чему она, по слабому в русских, но всё-таки существующему, национальному чутью, не может не сочувствовать, особенно если под оболочкой этой национальности пробегает демократическая струя» – Согласен… Но, во-первых, я старался, прежде всего, указать на то, что для русских нашего времени много труднее, чем для других, и потому каждое хорошее явление известного порядка ценнее у нас. Во-вторых, есть тысячи побочных вещей, о которых

не могут говорить газеты и никакие обозрения и известия; для эстетического же впечатления очень важны, и в самой действительности, и в искусстве – именно побочные вещи. Хорошо говорит об этом Шиллер: «*Человек, который ворует, не годится совершенно для величаво-поэтического изображения; но если этот вор, вместе с тем, и убийца, то хотя морально он ещё ниже вора, то эстетически он уже на одну ступень выше.*» Человек, унизивший себя подлостью, может посредством преступления восстановить себя несколько в нашем эстетическом мнении. Это уклонения нравственного мнения от эстетического заслуживает строгого внимания. На это есть много причин. Во-первых, я сказал уже прежде, что эстетическое мнение зависит от воображения, и на него влияют все побочные представления, которые возбуждаются в нас каким-нибудь предметом и состоят с ним в тесной связи. Если побочные представления низки, то они унижают неизбежно главный предмет.

Примеров на это правило можно набрать множество… Г.П.М. Ковалевский описывает нищенство среди божественной обстановки Неаполя; часовой даже протягивает руку, если никто не видит. Г. Ковалевский недавно напечатал стихи (очень хорошие стихи) в защиту молодых людей («Современник», № 1-й, II, 1863); в современности его нельзя сомневаться, и потому мы с особой радостью хотим опереться на него. Он описывает итальянское нищенство; однако не с той болью описывает его, с какой бы он описал, если бы

пришлось, лондонскую бедность в больших домах, в туман, без отдыха, бедность больную, золотушную…. В Неаполе у него выходит это не слишком грустно. А ведь то же нищенство, и к тому же лень, гораздо сильнее русской; но обстановка другая – и впечатлевающему (нищему), и впечатлеваемому (зрителю) легче. Г. Ковалевский – человек вполне современный, но от всех строк его дышит глубиной эстетического чувства, и его несколько писем об Италии, по нашему мнению, вместе с М. Вовчком – отрада посреди серой литературы последних годов.

Возьмём другой пример. Едва мы успели сказать несколько обскурантских и безнравственных слов о побоях, и вдруг нам попалась старая книжка «Revue de Paris»; там есть очерк «Paul de Musset», и в нём рассказывается история одной молодой девушки, неаполитанки и красавицы, Она была подкинута в монастырь, взята на воспитание знатной дамой и, едва выросши, обнаружила необузданную страстность (например, из ревности бросила в колодец молодую подругу) и кончила тем, что оставила дом своей знатной воспитательницы (которая обращалась с ней как нельзя лучше) и вышла замуж за красивого молодого простолюдина, который бил её, когда она начинала бушевать, и она тотчас успокаивалась, как будто только и ждала этого. Все считали их счастливыми, и она была весела и красива по-прежнему. Рядом с этим поставим очерк г. Достоевского: «Акулькин муж» (из «Мёртвого дома»). Трагический конец в сторону: возьмём только жесто-

кое обращение мужа с терпеливой и кроткой женой. Она его не любила: вот уже одно условие, ухудшающее общую сумму; потом – и в нём заметны раздражённое самолюбие и злость, а не страсть; потом сами по себе оба действующих лица менее поэтичны, чем неаполитанцы.

Третий пример. Возьмём какого-нибудь Чичикова, который женился бы … ну хоть на «просто приятной даме» и прибил её.

Ведь в этих трёх случаях сущность действия одна, и публицист или моралист должен возмутиться ею. Он и будет писать, вообще, против этого искренно; но разве его личное, душевное впечатление наедине с самим собою, или с очень близким другом, в гуманности которого он уверен, не будет разное в этих трёх случаях? Первому факту он добродушно посмеётся, второй смутит и ужаснёт его, третий возбудит только презрительное отвращение (Прежде, чем написать эти строки, я нарочно сделал опыт над одним человеком, который часто помещает статьи в пользу женщин, в газете; человек он умный, строгий, честный и холодно-гуманный; я знал хорошо, как бы он судил о двух последних фактах, и, не предупреждая его о своей цели, рассказал историю неаполитанки; он был как будто рад и смеялся от всей души). И так как всякий из нас живёт и питается этими впечатлениями, то несправедливо было бы вводить в искусство всё один насмешливый и укоряющий тон; несправедливо отбрасывать всё хорошее, привлекательное, побочное, потому что нуж-

ного нам теперь нет налицо в таком-то человеке. Хорош был бы Пушкин, если бы он вовсе отрицательно отнёсся к Онегину, потому что Онегин ничего не делает. Добролюбов, может быть, поступил полезно, называя Онегина пошлым человеком; но кто хочет быть ближе к истине, тот пусть обратится к статье Белинского об Онегине. Белинский сам был одним из полезнейших людей своего времени, но он, сам бедный труженик, умел понимать прекрасное во всех его проявлениях и, между прочим, только в осязательно-полезном.

Старик Багров бил своих домашних; невестка его – Софья Николаевна, презирала простой народ, не любила природу, стыдилась родства своего с недворянкой; но, благодаря не столько таланту С.Т. Аксакова, сколько миросозерцанию его, они вышли и привлекательнее, и занимательнее многих полезных современников наших.

Есть, наконец, кроме основных начал самого содержания, множество мелких приёмов и привычек, много выражений, которые без нужды набрасывают отрицательный оттенок на факт.

Французы, как известно, расположены страдать противоположным недостатком. Об их ходулях столько говорили, что слово это стыдно повторять; у нас же впадают беспрестанно в другую крайность, иной раз нарочно – для поучения, для пользы, с тем же побуждением, с которым писались «L'ami des enfans, par Berquin» и т. п., или нечаянно, потому что привычка всё третировать юмористически и с-кондач-

ка стала признаком отрезвления и самоновейшего прогресса. Это видно и не в одних повестях; недавно в одной газете описывались выборы, и автор кончил тем, что похвалил их, а начал, чтобы задобрить читателя, или издателя, юмористическим глумлением.

Англичанин или немец скажут просто: «*он испугался*»; француз: «*il fremit, ses cheveux se dresserent!!!*»; русский: «*он подловато, наиподлейше струсил*». Вместо «растолстел» русский скажет: «расползся, разлезся»; вместо «он был буян» – «он любил скандальчики».

Точно сам автор совсем съёжился в эту минуту!

Посмотрим же, что представляют нам наши повествователи за последнее время, вместо действительности, в которой уже *сносная доля нравственного заключена в очень пёструю и занимательную оболочку побочностей*.

Г. Щедрин («Современник» 1863, № I, и II-й) со всегдашним остроумием и несомненной силой представляет нам опять противного помещика и гнусную помещицу. Вы очень даровиты, г. Щедрин, форма у вас отличная, но неужели ничего поновее нет? Г. Стопановский («Обличители», «Отеч. Зап.», 1862), уже без всякого остроумия и без всякой силы, представляет нам целую толпу противных людей; г. Чернышев («Уголки театрального мира», «Отеч. Зап.», 1862) – то же; г. Юрьев («Очерки с натуры», «Отечественные Записки», 1862) двух плохих помещиков, дурного посредника и алчных или грубых мужиков. Ещё прежде, но всё-таки

недавно, г. II изобразил нам (в «Современнике, 1861 г.) яркий контраст: «Грязь и Золото»; здесь ещё можно поблагодарить за намерение хоть демократического героя представить в благородном виде; но уж аристократия задета тонко и едко! Хорошее намерение было и у г. Потанина («Старое старится – молодое растёт» в «Современнике», 1861): он хотел с теплотою и без отрицания изобразить, как растёт дворовый мальчик. Читатель видит очень хорошо, чего хотел г. Потанин; но ему самому от этой теплоты ни жарко, ни холодно. Это зависит от разных внешних приёмов, от юмористических фокусов-покусов и грубоватостей, без которых редко кто нынче умеет писать. Это – отрицательность формы, а не содержания. Г. Бицын представил («Русский Вестник», 1861 г.) предприятия молодого прогрессиста в деревне, не возбуждая в нас ни малейшей симпатии, и был поделом строго разобран в «Современнике» покойным Пиотровским. Г. Воронов (во «Времени», 1862 г.) серо описал какое-то серое детство серого, по натуре, мальчика; если бы мы ещё знали, что это всё до капли действительность, тогда бы оно могло иметь цену. А что, как это творчество?…

Г. А. Потехин изобразил безжалостное обращение богатых помещиков с жалкими однодворцами («Бедные дворяне», в «Библ. для Чтения», 1861), хотя и утешил нас немного лицом энергической Параши (?); но и это нельзя назвать смелой чертой, потому что представлять страстных и самоотверженных девушек низкого сословия уже вошло в обы-

чай.

Вы мне скажете, что эти люди (кроме Щедрина) не слишком даровиты, или, просто, бездарны. Я вам скажу – тем лучше: на них яснее видно, что стало обычным, что стало лёгкою работой, для чего не надо иметь ни много ума, ни много воображения, ни много глубокого и широкого личного опыта. Тем более, к ним обратиться удобно, что гг. Тургенев, Гончаров, Писемский и др., более или менее равные им, развились не под теми влияниями, под которыми развилось большинство младших по годам, или по началу деятельности, писателей. Об этих авторах другого происхождения мы поговорим дальше; теперь же обратимся к гг. Успенскому и Помяловскому, к двум новым писателям, у которых, конечно, больше дарования, чем у многих из их собратий.

Один из них (г. Успенский) с большой силой и успехом исполняет свои намерения – облекать в энергическую форму то отрицательное содержание, которое его занимает. Г. Помяловский, напротив, склонный, по-видимому, к поэтическому, положительному взгляду, поддаётся невольно отрицательным влиянием и портит грубыми выходками своё положительное содержание. Г. Помяловский видимо – поэт; из быта зажиточных столичных чиновников, их такой архи-средней и прозаической почвы, он умел извлечь, местами, столько тёплого и почтенного. В разговорах героя с художником Череваниным столько ума; сам Молотов, хоть и прозаичен, но внушает непобедимое почтение; старик Доро-

гов вовсе не самодур – деспотизм его умеренный и нисколько не груб; Надя – милая, преумная девушка (вспомним её взгляды на поэзию помещичьей жизни и на прозу её круга, её споры с Молотовым); мать добра и нежна к детям; даже генерал Подтяжин, сказано, честно служил. Главное, хорошо то, что оригинальны исходные точки, например, хоть колорит покойной прочности и домовитости, которые положены на героя и семью героини. Сцена спящей Нади и маленького брата – отлична; но зачем человеку с такой склонностью к положительной поэзии наполнять своё произведение бездной тяжёлых, язвительных прибауток и рутинной грубоватостью нашего времени? Беспрестанно: «рожа, брюхо»; «я, Надя, жил для брюха», – говорит герой. Можно найти много подобного, и кто захочет, сам найдёт всё это в «Молотове». Дай Бог, чтобы эта была бессознательная дань!

Не разбирая г. Успенского подробно, я попрошу согласиться только с тем, что он с особым удовольствием берёт всё пошлое, сильно комическое, отрицательное, грубое из народной жизни, и, надо ему отдать справедливость, служит своему одностороннему направлению с замечательной силой. Как творчество формы, как исполнение, его очерки много выше «Записок охотника»; но, не говоря уже о поэзии содержания последних, нельзя не сказать, что в них больше разносторонней правды, что г. Тургенев был ближе к действительным размерам жизни.

IV

Какие же причины? Их, вероятно, очень много, но я не берусь объяснять все; скажу о тех, которые мне понятны. В деятельности одного лица главную роль играет одна из этих причин, в деятельности другого – другая. Иные из этих причин принадлежат всему европейскому миру, как я уже выше сказал, другие нам в особенности. Есть причины, которые стоят выше сил литературы или вне её круга; другие истекают из неё самой, зависят от её истории, от побочных и устранимых влияний и т. д.

Вот те причины, которые мне понятны:

1) официальность многих хороших или занимательных жизненных явлений, их историческая известность;

2) цензурные препятствия;

3) влияние политических тенденций;

4) влияние гоголевской школы;

5) недостаток честности во взгляде на искусство.

Разберём их по порядку.

Официальность или публичность. Это неудобство везде одинаково: и у нас, и в Англии, и во Франции – везде, где есть литература. Г. А. Может разделять мнения императора Наполеона III, а г. Б. уважал, может быть, Орсини; но я думаю, что сила впечатления на них обоих была большая, когда произошла известная драма. Какие сильные, своеоб-

разные актёры, какое поприще, какие задние мысли и вопросы поднимает эта драма! Судьба спасла Наполеона III от руки итальянского патриота и погубила последнего; а через несколько лет, этот оригинальный правитель помог родине казнённого стать в то положение, в которое стать она не имела сил. Не будем ходить далеко в историю; упомянем только о том, что случилось яркого после 48 года и до 63. Неожиданное появление Наполеона III, его императорство, его женитьба на одной из самых красивых современниц наших; Орсини; крымская кампания, со всеми её случайностями, эффектами и последствиями; открытие Японии; восстание Индии; плен Шамиля; освобождение крестьян в России и последствия этого события; Гарибальди, папа, Виктор-Эммануил; Антонелли, Мадзини, Киавоне; взятие таинственного Пекина, и т. д. Вот очень жалкое, крайне неполное перечисление очень сильных, трагических, ярких, благородных, хитрых, гуманных и жестоких, но, во всяком случае, не слабых, не пошлых, не хлестаковски-отрицательных явлений. Все эти явления жизни и истории не могут войти в объективное искусство (эпическое и драматическое). Искусство непременно требует известной доли таинственности, и настойчивый блеск истории не под силу ему и не по вкусу; подобные явления, отмеченные публичным штемпелем, могут внушать только лирические песни. С одной стороны, приёмы лиризма, сама музыкальность формы придают известную газообразность плотным явлениям истории, видоизменяют

их настолько, насколько требует того самобытность искусства. С другой стороны, в истинно лирической форме должна преобладать личность автора, настолько, чтобы прибавлять к изображению внешнего мира свой собственный луч. К несчастью, лиризм очень ослабел в последние десять или пятнадцать лет; где этому причина – бог знает! Разбирать это можно только в особой статье. Но что он ослабел, в этом нет сомнения; единственное орудие, с которым искусство могло бы обратиться к высшим сферам исторической жизни, теперь мало употребляется, и почти все попытки неудачны. Вспомним только наше натянутое тиртейство во время крымской кампании, оды французов на взятие Малахова, «разные тройки», «уставны грамоты, и т. п. стихи нашего времени – всё это так натянуто, так неловко! Одним словом, в жизни всё это гораздо лучше, чем в этих стихах. Если русскому наших времён нельзя написать хороший роман или хорошую драму про Шамиля или про Гарибальди, то ещё неудобнее ему брать героями своих русских современников, целиком списывать портреты известных лиц. То же самое препятствие встречают и авторы других наций; как ни бедна идея, которую представляет Франция нашего времени, всё же в истории её за последние годы больше занимательности и поэзии, чем в «M-me Bovary» и т. п. вещах. Всякий, кто желает, узнаёт мелкие подробности, анекдотическую часть (без которой нет жизни) во всевозможных, очень просто и без претензий написанных обозрениях, разных известиях и

корреспонденциях с театра действий. Сколько мы прочли потрясающего про Италию в эти последние годы, без всяких повестей! Искусство, волей неволей, должно обращаться к частной, семейной стороне жизни; тем более что крупные исторические происшествия отражаются во многих подробностях частной жизни. Но как оно смотрит на эту частную жизнь? Вот вопрос!

Цензурные препятствия. – Об этом необходимо было только напомнить, для некоторого оправдания писателей, а говорено об этом и без нас достаточно.

Влияние Гоголя. – С влиянием общеевропейского реализма XIX века, тесно связанного с успехами точных наук, и объективности, близкой и к реализму, и к пантеистическому духу немецкой философии, соединено у нас влияние Гоголя. Вышло так, что реализм и объективность у нас приняли характер особенно отрицательный. Полагалось, что у нас быть верным жизни – значит насмешливо смотреть на неё. У таких специальных по этой части талантов, как Гоголь или Щедрин, оно выходило прекрасно, несмотря на односторонность. Но когда взглянем на всё, что было написано хорошего и дурного со времён Гоголя, когда пересмотрим, одного за другим, Гончарова, Писемского, Тургенева, графа Л.Н. Толстого, Островского и других, более или менее даровитых писателей, то, несмотря на все их отличия и относительную самостоятельность, увидим у всех общие черты века и местности: большая верность жизни, почти всегда ра-

венство ей по содержанию, верная до кропотливости обработка характеров, любовь к мелочам (которой не было у Гоголя и на которую жаловался ещё К.С. Аксаков), благоговение перед реальным фактом, большая или меньшая воздержность от лиризма и личного увлечения, перевес комизма над трагизмом; обязательность некоторых юмористических приёмов, более робкое обращение с положительной стороной жизни, чем с отрицательной, насмешливость, если не ядовитая, то, по крайней мере, добродушная, совершенное забвение (похвальное или непохвальное – это другое дело) мистического, сверхчувственного, восторженного, величавого, слабость лирического элемента. Замечательно, что Гоголь и Щедрин, несмотря на свою юмористическую и отрицательную специальность, богаче других этими последними свойствами («Вий», «Тарас Бульба», «Ночь перед Рождеством»; сила и свобода лиризма у Щедрина). Тургенев высвобождался медленно из оков натуральной школы, и относительно формы, отбрасывая множество тех обязательно-юмористических выражений, которыми ещё наполнены были «Записки охотника», и относительно содержания, в «Якове Пасынкове» позволил себе положительно отнестись к романтизму; в «Рудине» заставил читателя отдохнуть на эпилоге; в «Дворянском гнезде» вывел Лизу и Лаврецкого – лица уже совершенно положительные (сам Добролюбов сказал: «неловко иронизировать над Лаврецким»); а то, что Лиза пошла в монастырь и не сделалась обыкновенной матерью семейства,

так это делает честь, а не бесчестие русской жизни: *значит, она богата элементами*. В «Первой любви» Тургенев положительно отнёсся к лицу отца, которого, по правилам современности, следовало бы смешать с грязью, и в «Отцах и детях» – лицо, враждебное автору по взглядам, представлено уж, конечно, не в комическом виде!..

Гончаров, с самого начала, приёмами менее других покорялся влиянию Гоголя; самый юмор его был гораздо самобытнее и естественнее тургеневского; юмор его часто напоминал небрежный сибаритизм Пушкина, чем гениальную грубоватость Гоголя. Зато содержание и выбор сюжетов у Тургенева были гораздо положительнее, поэтичнее. Гончаров в «Обломове» изобразил хотя и тёплое и симпатичное, но всё-таки комическое лицо. «Иван Савич Поджабрин» – совершенно комическая повесть. В «Обыкновенной Истории» он положительно отнёсся к скептику и узкому практику, а идеалиста осыпал насмешками (Александр не «закричал», а непременно «заорал»; не «испугался», а непременно «струсил» и т. п.)

Писемский, в очень художественной форме, долго изображал самый жалкий быт, и трагическое было в нём оттого, что слишком жалко людей, которых невольно презираешь; только в позднейших произведениях своих он стал смелее выбирать сюжеты: «Питерщик», «Плотничья артель» – вовсе не отрицательны, потому что в лицах есть огонь, сила и достоинство… В романе «Тысяча душ» почти все довольно

порочные люди, но относительная ширина поприща, злобная энергия и административная честность героя заставляют дышать свободнее… Чуется уж не то зло, которое так убийственно действовало на читателя в «Тюфяке» и «Ипохондрике», а другое зло, просторное и рослое…

Г. Григорович, склонный к кротко-положительному содержанию, склонный к нему до идеализации (по крайней мере, где дело касалось одних крестьян), постоянно портил свою форму всей нравственностью, всеми не оставляющими ничего между строчками подробностями, всеми натяжками неестественного юмора, которыми старалась щеголять натуральная школа. О позднейших писателях, и особенно о гг. Успенском и Помяловском уже сказано выше: они всех, кроме двух женщин – М. Вовчка и Кохановской, или в выборе сюжета, или в приёмах, платят дань гоголевскому влиянию (через пятые руки, может быть), ещё больше платят, чем Тургенев, Гончаров и другие старшие авторы.

Влияние политических тенденций. – Это влияние тесно связано, с одной стороны, с рутиной комизма, с другой стороны, с цензурными препятствиями, с третьей стороны, с вопросом о *специфических признаках*, о которых я поговорю ниже. Всякого рода ясные тенденции, гражданские, национальные, религиозные, могут влиять и хорошо, и дурно, и на содержание, и на форму: на содержание – относительно выбора сюжетов и характеров; на форму – особенно тем, что действие прерывается беспрестанно умственными рассужде-

ниями и личным увлечением писателя, развитием его личных, более или менее отвлечённых, взглядов; но как бы ни прерывало содержание свою живую[2], гармоническую форму, если оно действительно богато идеями, или если личность самого пишущего богата теплотой, энергией, опытом, знаниями, то все эти длинные разговоры, длинные лирические места, идеи вместо лиц – отдельно взятые, могут быть прекрасны. Сколько подобных длиннот можно найти у Занда и у Шиллера! Конечно, такие вещи невыгоднее вещей истинно-конкретных уже потому, что как скоро наголо выставленные идеи стали для нас или вовсе чуждыми, или слишком знакомыми, мы их слышим и без удовольствия и, может быть, без пользы; зато сколько пользы современникам может сделать это смелое развитие новых идей в романе, какой энтузиазм могут возбудить эти самые длинноты, если они блестящи или страстны! Да и кроме современников… Разве люди, живущие в других местах и в другие эпохи, не сочувствуют общечеловеческой стороне прекрасных идей, которыми жили прежде другие люди? Стоит только новой эпохе повторить в чём-нибудь старую, и человек нового времени с полуслова понимает предка, под самой чуждой оболочкой умеет

---

[2] Оговорюсь: *живо, жизнь…* Одни разумеют под этими словами движение; другие – *полноту, связную сложность элементов*. От этого часто недоразумения. – Вернее понимать и то, и другое вместе, когда дело идёт о человеке, его жизни и произведениях. – Критика Добролюбова живее критики г. А. Григорьева, потому что в ней больше одностороннего движения; но критика г. А. Григорьева живее своей полнотой и глубиной. (*прим. автора*)

отыскивать своё; сознание, что и те то же чувствовали, что они ещё живительнее действуют на него. Конечно, все политические стремления держатся отрицанием чего-нибудь; но отчего же выбирать для романа или повести непременно не то, *за что заступается* любимая вами партия, а *непременно то, на что она нападает*? Один журнал, один публицист, нападая на всё, заступается за молодое поколение; другой, порицая почти всё, хвалит простолюдина; третий, порицая и народ, и молодёжь, предпочитает слой серьёзных и средних людей; четвёртый – друг аристократии. Всякий из них Янус, в одну сторону суровый, в другую благосклонный; зачем же повествователю смотреть непременно на суровую сторону, а не на другую?.. Видно, это труднее? Видно иметь много идей и задыхаться от наплыва их в сжатой, изящной форме, так же трудно, как и облечь бедную идею в прекрасную форму? Гораздо легче делать как все: писать в форме объективной, сжатой, но сухой и неизящной, и присвистывать тому, что признано дурным, не позволяя себе слишком горячо хвалить то, что сам любишь»! Так делают у нас почти все. Особенно это странно в молодых людях: как бы им не иметь энтузиазма *к своему*?.. Впрочем, здесь некоторую роль играют не зависящие от авторов причины. Вообще, для положительных приёмов необходимо одно из двух: или, враждуя с чужим, сильно любить своё (тогда появляется лиризм, пафос идей и т. п.) или с пантеистическим сочувствием относиться ко всему, что сильно, прекрасно и занимательно, не обращая вни-

мания на знамя, на убеждения: этот склад ума или таланта ведёт к тёплой, положительной объективности и чуждается всяких специфических признаков. О них следует ниже.

Честность и специфические признаки. – Хотя уважение к точным наукам, по нашему мнению, нынче развито более, чем бы следовало, если взять в расчёт их неудержимое стремление убивать личное творчество, но в этих науках есть много сторон, на которые литераторам недурно было бы обратить внимание. Все точные науки, одна за другой, отказываются от *специфических признаков*. Медицина говорит, что всякая болезнь есть картина сложная, и никогда почти все признаки её не бывают сполна налицо в частном случае; все сполна налицо они только в теоретическом идеале. Например, кирпичного цвета мокрота (sputum panaceum) считается одним из самых существенных признаков воспаления лёгких; но многие из врачей видали эту болезнь со всеми другими признаками, но без sputum panaceum. При определении болезни берётся не один какой-нибудь признак: кашель, жар и т. п.; отдельно всё это ничего не решает, а решает всё общий вывод. Точно тому же правилу следуют и при назначении лекарств. Исключительно специфическим лекарствам не верят, а берут иногда и другие. Например, в большинстве случаев хинин внутрь вылечивает лихорадку, но иногда он отказывается, и доктор назначает рвотное, так называемые разрешающие средства, мышьяк, горький миндаль, кофе с лимоном, тот же хинин, но в виде присыпки

на обнажённую мушкой кожу, в стороне селезёнки и т. д. В ботанике и зоологии давно оставлена метода классификации по одному или немногим главным признакам, а собирают растения и животных в более естественные и менее ясные группы, только для удобства обозрения, и сознают, что со всех сторон есть оттенки и переходы. – Дарвин, как известно, отвергает даже реальность вида, т. е. нет собаки вообще, а есть индивидуумы: вот эта собака, вот та, а видовое, родовое и тому подобные понятия имеют только философское значение. – Все три главные условия для отделения вида признаются не неизбежными:

1) происхождение от одной пары родителей;

2) сходство в существенных частях организма;

3) способность иметь плодородных детей.

Догадливость нашего живого чутья тоже опровергает специфические признаки при встречах с людьми, но, то рассудок, то страсти заставляют нас обращаться к специфическим признакам нравственным, политическим, религиозным, для того, чтобы счесть себя вправе положительно отнестись к лицу, которое нам нравится.

На козлов и овец мы часто разделяем людей не по живому чутью, которое нередко умнее ума, а по тому, есть ли у них тот признак, который мы считаем необходимым для произведения человека в положительные лица: демократизм взглядов или жизни, народность, современность, материализм или религиозность и т. д.

Без этой исключительности не может быть никакой энергической деятельности, ни нравственной, ни политической. Как же я буду действовать против чего-нибудь, если меня будет беспрестанно останавливать боязнь, что с плевелами я как-нибудь вырву и пшеницу, которая мне нравится? Но если я горячо предан какому-нибудь общественному началу, среде, каким-нибудь личностям, и потому отрицаю всё противоположное этому началу, этой среде, этим личностям – отчего мне не предпочесть похвалу своему любимому незаконным порицанием враждебного? Для положительных приёмов необходимы или страстная любовь к чему-нибудь одному, или любовь к прекрасному, во всех его проявлениях, честность эстетического дела. Но многие понимают только злобу и казённое пренебрежение, не имея горячей любви и к своему; а честность – слово, которое нынче редко прилагают к служению искусству, или вообще к прекрасному.

Часто мы слышим слово «честность» в приложении к публицистике, науке. Говорят: человек «проводит честные мнения в своей газете», «он честно служит науке». Нам кажется, что слово «честность» в этих делах обозначает совсем не то, что обозначает выражение «честность в жизни»; честность в жизни подразумевает целый ряд справедливых и надёжных действий: платить долги, не брать взяток, держать обещания, не обманывать женщин, не хитрить, с известными целями, против того, кто с вами доверчив и от кого вы можете зависеть и т. п. Вот ряд поступков, соединённых в поня-

тии «честность в жизни». Честность в публицистике совсем другое дело. Многие говорят, что личность должна быть тут в стороне, что умный, знающий и ловкий человек, не будучи слишком честной натурой, может иметь в газете, журнале, брошюрах своих очень честный взгляд, честное направление. До личности нет дела, говорят. Но ведь каждой партии своё кажется честным, и «под всяким знаменем могут биться благородные сердца». Поэтому, иные говорят, что честность в публицистике есть искренность убеждений; но как узнать искренность? Дело такое тайное, тонкое дело, которое и при личном знакомстве решается скорее каким-то физиономическим чутьём, чем явными фактами. Что же мы можем сказать об искренности публициста, если мы не знаем нисколько его личных поступков, его натуры?

Честность публициста обыкновенно определяется общественным мнением, вне печатного слова; до этого доходят разными окольными путями, и в печатных отзывах слышится отголосок этого мнения между строчками. При этом, если мы стороною убедимся, что публицист не всегда говорит искренно, мы ещё не вправе думать, что он нечестен; человек сам с собою и с ближними может, например, находить, что чистое искусство – вещь обворожительная и потому именно вредная в известную эпоху; он пишет не для себя и для друзей, а для целых сотен или тысяч, которым он находит полезным внушить презрение к пустым песням и искусству для искусства; он искренен в своём желании блага (и потому

честен), но неискренен относительно истины и предпочитает ей крепкое направление, истину практического разума ставит выше истины чистого разума. Поэтому честность публициста не в тех или других мнениях, и не в искренности, а, просто, в личности, которую под спудом спрятать надолго нельзя.

Честное служение науке или искусству опять другое. Честное обращение с наукой есть известная степень осторожности, воздержности, терпение, неутомимое трудолюбие. В искусстве только честность есть синоним искренности. Вы – демократ, допустим, и по положению, и по взгляду; но вам понравился какой-нибудь вельможа, понравилось какое-нибудь пышное здание, построенное руками голодных пролетариев. Хвалите вельможу, несмотря на то, что половина его привлекательных свойств развилась при условиях огромной собственности; описывайте роскошное здание – лишь бы было прекрасно! Во всяком явлении есть доля мировой истины, и если это явление сильно – оно прекрасно в своём роде. Итак, не бойтесь, будьте искренны! Жизнь сложна, сказали мы прежде, а всякое направление бедно, потому что живёт исключениями. Пишите, когда хочется, когда душа говорит, что иначе будет плохо; в произведении вашем не будет ни реальной научной цены точных мемуаров, ни пронизывающего влияния публицистики, ни поэтической правды. Только великие таланты умели иногда быть неискренними; но они ведь выкупали это таким богатством содержания,

и форма была им так послушна, что читателю было не до искренности их; *да и то подмечали*!

Вот честность художника: ни политические, ни нравственные специфические признаки не должны стеснять его. Самые односторонние из истинных поэтов как будто изменяли иногда своим обычным вкусам. Беранже, певец бедных, гризеток, нищих, добряков, бич деспотизма, вельможных претензий и пошлой роскоши, сумел, однако, оценить достоинства светской и богатой женщины в стихотворении «Rosette». Он сознался, что не только обстановка и красота её могут действовать на сердце, но сказал, что «просвещённый ум её способен вдохновить не одну лиру», что «сердце её нежнее», чем у бедной гризетки Розетты, которую он любил в молодости, «что взгляд её даже кротче», и прибавлял после каждого куплета:

Que ne puis je vous aimer,
Comme autrefois j'aimais Rosette!

Большая часть истинных и искренних поэтов были непоследовательны: Пушкин – нечего и говорить! Оттого он и велик, что в нём всякий может найти что-нибудь для себя. Но аристократ и тайный советник Гёте – кого он сделал героиней своего Фауста? Простолюдинку, мещанку… Шиллер, друг разума и прогресса, воспевал рыцарей и от всей души жалел о мифологических суевериях. Ж. Санд с равным удо-

вольствием выводила в положительном свете и маркизов, и пастухов… Во всякой строке её слышна (быть может, бессознательная?) радость, что есть ещё на свете и маркизы, и пастухи!

Вот эту искренность, эту непоследовательность – мы называем честностью художника.